

Анатолий Юрков, известный советский и российский журналист, публицист и писатель, публикуется в «Юности» не первый раз. Еще работая в «Комсомольской правде», он ввязался, с легкой руки Владимира Чивилихина, в длительную и, как оказалось, бесконечную тему охраны озера Байкал, сбережения великого озера от алчных рукастых чиновников. И от нас самих.

«Юность» (№ 8 за 2013 год) опубликовала его заметки (очерк) «Байкальские обманки на высшем уровне» — о продолжающихся пустых потугах правительства решить байкальскую проблему. Публикация оказалась «в руку», и на том уровне затрясло. А через месяц, 13 сентября того же 13-го года, вышло правительственное постановление: остановить и закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК). К тому году каждое уважающее себя издание, в том числе и правительственная «Российская газета», били в одну цель: Байкалу — быть. БЦБК — нет! Те публикации и полувекровая борьба общественности за спасение Байкала вроде поставили последнюю точку...

Нынче А. Юрков — обозреватель «Российской газеты», активно пишет и печатается. Он лауреат премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России» — за книгу «Байкальская молитва».

Эх, жизнь-самокатка, катится-то сама, да не барыней ты сидишь в ней, понукающей весело солнышко в небе, а по камням, по грязи и иному бездорожью тобою же протирается след, оставляя непоправимые раны.

Валентин Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана

Перед тем как сесть за стол писать эти заметки, несколько дней я отбивался от строф, всплывших в памяти и зудящих, как зубная боль. Так с памятью бывает.

Она на барском поле жала,
И тихо побрела к снопам.
Не отдохнуть, хоть и устала —

А покормить ребенка там.
В тени лежал и плакал он...

Чьи это строки? Помнил, что они из школьной программы более чем полувековой давности... Догадывался, что вызвало их в памяти и по какому поводу. Внук спросил, что означает слово «жать».

— Посмотри у Владимира Даля, том первый.

— А сам навскидку не помнишь?

— Ну что ж. Раньше *жали* пшеницу, рожь, когда они созревали. Жали вручную, серпом. Знаешь про серп?

У внука — рот до ушей:

— Серп и молот означали союз рабочих (молот) и крестьян (серп). Вместе с красной звездой они были на красных флагах СССР.

— Молодец.

— Не, дед. А как *жали* серпом-то?

— В войну, когда лошадей уже не было, рожь, пшеница поспевали — и вот-вот начнут осыпаться, терять из колосьев зерна, женщины вооружались серпами и шли в поле *жать* хлеба. Мама, скажем, левой раскрытой ладонью захватывала пучок стеблей, сжимала, а правой подрезала эти зажатые стебли серпом, внутренней его режущей (острой) частью. Срезав, клала пучок на землю и захватывала следующий. Потом, когда таких пучков набиралось штук десять-пятнадцать, из них вязали снопы. Сама эта работа и называлась «жатва», от слова «жать». Рожь и пшеницу надо было срезать под корень, женщина за рабочий день нагибалась и распрямлялась несколько сотен раз. Если не тысячу. «Я молода жинала по сту снопов в день», — приводит пример В. Даль.

— Ничего себе, — сказал внук. — Выходит, войну не кланялись.

— Лучше сказать, своей земле-кормилице.

После этого нашего разговора и начали выплывать из памяти, как птенчики из скорлупы, слово за словом, строчка за строчкой те стихи. Память их выправляла, укладывала по смыслу, по рифме...

Но чьи стихи — А. Некрасова? А. Кольцова? Никто из моего окружения не мог мне помочь — и с недавним университетским образованием, и гуманитарии широкого профиля. А мне нужно было почему-то знать, иначе не писалось. Мысль соскальзывала на это барское поле. Компьютер дал ответ за три минуты — «Жница» Тараса Григорьевича Шевченко, — извлек из бездонного чрева его памяти мой коллега Юрий Макарецв. И прочитал мне все пять четверостиший (по памяти, не заглядывая в шпаргалку), которые оставил нам для раздумий великий кобзарь украинского наро-

да, много писавший на русском языке. И который был в школьной программе в Советском Союзе. По крайней мере с сороковых годов. Тогда к нам в начальную школу привезли учебник по новому предмету — «Родная речь» — в одном экземпляре. Там была и картинка к этому стихотворению — жница со снопом пшеницы на плече. Рисунок — тоже Тараса Григорьевича Шевченко.

И как же нам быть теперь со своей памятью — ждать, когда чернь за Днепром угомонится? Но вот ведь память наша что-то может и забыть, и выбросить за ненадобностью, но в тайниках своих укрыть, сберечь и сохранить дорогое, сердечное, вечное. И наградить тебя в один прекрасный день.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА, ЯБЛОЧКО НА БЛЮДЧКЕ

...Так счастливо совпало, что на невеликом стенде своего издательства нашел для нас местечко Георгий Пряхин — Валентин Распутин издал у него в «Воскресенье» свою последнюю книгу, а я — первую, байкальскую. Кто из нас больше радовался по этому поводу, мы не выясняли — радовались встрече. А сперва, оказавшись на пятачке — лишь бы не отдавить кому ноги, я больше чем удивился появлению Валентина Григорьевича собственной персоной в сопровождении Виктора Кожемяко, своего соавтора в «Диалогах о России», человека мудрого, пожившего и повидавшего журналиста и писателя.

— А это Юрков Ана... — стал представлять меня Пряхин.

— Кто ж на Байкале не знает Юркова, — весело перебил его Распутин. — Мне о нем еще Володя Чивилихин говорил.

Я был несказанно рад этой встрече. А Пряхин усмехался в усы: он-то знал, что Распутин придет на встречу с читателями. Не упустит.

— Ну да, — кивнул я на тесноту нашего пятачка, — а к кому это очередь за автографом выстроилась, бьет копытом...

Первым в этой очереди переминался с ноги на ногу журналист нашей «Российской газеты», прижимая к груди одной рукой, левой, книжку Распутина, а другой подавая мне знаки: ну не отвлекай ты его... И такое у него было выражение лица при этом: мол, пока он, классик, здесь, не исчез, не растворился без следа, не испарился как святой дух — ну не держи ты его, не отвлекай... Пусть подпишет мне эту книжку — и тогда бери, он твой.

Валентин Григорьевич, похоже, заинтересовался, с кем это я общаюсь через его голову, и обернулся: так он попал в полон к своим читателям и почитателям.

Мы занимались каждый своим, пока Пряхин не прекратил его заманчивым предложением:

— А не перейти ли нам к пище земной?

— Если путь туда недалек.

— Далек — не далек: был бы полон кошелек.

Так, балагурия на аппетитные темы, мы оказались за столом в предвкушении неизбежного тесного общения. Тем более что он уже ожидал нас салатами, закусками и заманчивым блеском бокалов.

ТОРГИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Нельзя перед человеком кривить душой. Особо если она у него искренняя до слез. Про таких говорят: слезами омыта.

Тем более перед его памятью.

Валентин Распутин ушел от нас, так и не приняв новую российскую действительность, которая начала кучковаться в 90-х годах. Он не был к ней равнодушен и не был молчуном. В последнем своем крупном произведении «Дочь Ивана, мать Ивана» он напрочь отверг спекулятивный характер ценностей, нравственных ориентиров, подштукатуренных непривычным для русского уха словом «толерантность», которые нам навязывают, предавая анафеме целомудренность и как явление русской глубинной жизни, и как признак высокой литературы. И культуры. Нет, он честно дожил в ней свои годы и дни — свой срок! — как врачеватель мудрый, тонкий, неторопливый и основательный, поставил ей диагноз, весьма отличный от тех, которые ставили ей придворные лекари и его, Распутина, давние коллеги-приятели. Жаждающие быть замеченными. Он даже осудил некоторых, когда узнавал, что они плясали на останках поверженных кумиров под неправые залпы перекрестного пушечно-ружейного огня, не прощая плясунам за их талант, который уж никак не должен был отдан добровольно в прислужники эмоциям...

Когда делят власть, чтобы властвовать над великой страной, попавшей в переpleт со своим народом, а не помочь ему выжить в лихую годину; когда делят людей на «наших» и «ненаших», чтобы разобщить нас, воспитанных и привыкших жить гуртом и вместе искать ответ: а почему мы должны служить властям, которые делают народ нищим и душой, и кошельком? В конце концов, кто кому служит? Это несправедливо и не по-божески,

когда несколько таких «слуг» контролируют экономику всего своего народа.

Оценку происходящему в России Валентин Григорьевич сделал для себя, размышляя над происходящим вокруг.

«Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основании человеческой жизни, что мир устроен *равновесно* (с чем никак не соглашался его единомышленник по Байкалу академик Михаил Грачев. — А. Ю.) и сколько в нем страдания, столько и утешения, сколько белого дня, столько и черной ночи. Да впереди всегда маячил плотный берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали. И люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы...»

Кого винить в происшедшем? Тех, кто по групповому сговору пришли к власти, и теперь, когда стало всем очевидно, что новая власть беспомощна, глупа и плохо образована и натаскана для такого грандиозного дела, как управление великим тысячелетним государством, а советники из заморского обкома своекорыстны и вовсе не советники, а спецы по разноцветным революциям, цель которых — поработить народы, приторочить их к своему колониальному сапогу, — кто и зачем их звал к нам-то? Уж если новоделы так размашисто отказались от своих кумиров, выставив память о них на публичные торги, зовущиеся по-ихнему аукционами, то продать каждого из нас — что сдать — отдать нищему — не перехрюнут.

БОДАЛСЯ БАЙКАЛ С НАЧАЛЬНИКАМИ

Разговор за нашим столом не мог проплыть мимо Байкала.

Чин чином, первый тост за Байкал, чтоб ему всегда чисто было.

За народ, который остается русским народом до конца, верным своему Отечеству, как бы его ни поносили наши недруги.

— А как вы, Валентин Григорьевич, относитесь к Солженицыну?

— Тут интересен один момент: Солженицын, отказавшийся от награды Ельцина, — патриот, а Распутин, принявший премию от Солженицына-патриота, — отступник и предатель. Это у одних, умеющих заблудиться в двух соснах.

— Бывает.

— Я не о том: бывает, что и кочерга летает. Не настолько мы сильны и богаты и не настолько умо-

помрачение, как партийная дисциплина, стеснило наши взгляды и вкусы, чтобы не признавать Солженицына-художника и Солженицына-мыслителя. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но помнить слова Достоевского: «Дьявол с Богом борются, и поле битвы — сердца людей». Это вечное.

— Вы, Валентин Григорьевич, принуждали Путина к Байкалу?

— Принуждал или не принуждал... — пожал плечами Распутин. — Но когда мы плыли по Ангаре и остановились в Кодинске, рядом с которым сооружается Богучанская ГЭС... Могучая Ангара здесь сплошь в чудо-островах, на которых не просто лес, а считай, тайга на километры и километры. Да леса, еще более могучие по берегам Ангары. И если в моих родных местах, когда строили Братскую и Усть-Илимскую ГЭС, леса ушли под воду наполовину и десятки лет после заполнения водохранилищ деревья торчали по берегам из воды... Потом их вымывало и таскало по нашим рукотворным морям... тоже годами... Все берега — не подойти и не подъехать — забаррикадировало мертвыми деревьями... Что же будет тут, у Богучанской ГЭС? Я позвонил из Кодинска Владимиру Владимировичу, попросил о встрече.

— Он не удивился звонку?

— Нет. И теме разговора не удивился. Путин, можно сказать, спас Байкал от грозящей ему беды, когда принял решение отодвинуть нефтяную трубу по берегу Байкала на безопасное расстояние. Почитайте в «Российской газете» тех дней хронику событий по Байкалу — все поднялись в его защиту, даже министры. Мы того решительного поступка с дальновидными последствиями не забыли и не забудем.

Он согласился встретиться со мной. Встретились на Байкале. Я начал с того, что припомнил слова Солженицына о главной задаче власти — сбережении народа. А сбережение народа — это не только обеспечение его работой и прожиточным минимумом, но и сохранение России в ее нравственном, духовном и культурном обликах, в сохранении природы — матери народа.

Путин не перебивал меня, но только до той поры, пока я не заговорил о Богучанской ГЭС, о том, нет ли возможности если не прекратить ее строительство вовсе, то хотя бы отказаться от отметки верхнего бьефа. Уже поздно, ответил Путин. А что касается следующей гидростанции на Ангаре, Нижнеангарской, по ней еще нет окончательного решения...

А буквально через неделю после этой нашей встречи грохнулась Саяно-Шушенская. Конечно, это случайность, что трагедия случилась после нашей встречи. Но какая-то назидательная, что ли, случайность...

Он повертел в руках мою книжицу. Прочитал вслух название: «Байкальская молитва». Сказал:

— Кто-то до нас помолился за Байкал. Чтоб мы не охальничали с ним. И его молитва дошла до Бога.

— Вы верите в Бога? — спросил Александр Иванович, не очень разговорчивый генерал под псевдонимом, который у одного на самом верху служил то ли советником, то ли консультантом по самым деликатным вопросам.

Распутин метнул по нему взглядом:

— Я верю в русскую душу. Сколько она перемогла, пока Байкал врачевал над своей водицей, а не сошла со своего русла, как ее ни мытарили. Говорят, вернулась к своей вере. А она ее и не те-



Фото Игоря Курашова

ряла, не расставалась с ней. Потерять веру — потерять все. Вера в народе оставалась всегда, как бы ее из него ни выжимали.

Мы выпили за русский народ, за его веру и будущее.

Подняли рюмки за Распутина, совесть русской литературы, но к предложенному тосту он попросил оговорку:

— Ничьей совестью я не хочу быть, дай бог со своей поладить. Но что пишу я для своего народа и всю жизнь служу ему своим словом — от этого не отказываюсь.

Мы выпили и за него.

Был тост и за нашего издателя — тут еще раз попросил алаверды Валентин Григорьевич.

— Вот эту свою последнюю книжку, которую мы делали вместе с Виктором Стефановичем Кожемяко, и которая увидела свет только благодаря «Воскресенью», я тоже пригублю.

— А что так?

— Никто не хотел печатать, — хмуро сказал Кожемяко.

— Да почему же?

— Нелицеприятная она для властей.

— Для того чтобы заработать лицеприятную, надо любой власти поработать в поте лица, извините за нечаянный каламбур.

Мне его простили.

— Я одного боюсь, — сказал Распутин без нажима, — перерождение в народе совершается быстрее, чем предполагалось.

Наступила тишина.

Я потом найду то место о перерождении в «Матери Ивана, дочери Ивана» и пойму, до каких глубин души беспокоила Валентина Григорьевича эта не теоретическая проблема.

БОЛОТЦЕ С ЛЯГУШКОЙ, ДА ЖИЗНЬ — ВЕКОВУШКА

У людей, обдумавших свое житье, все получается к ладу, как любовь с первого взгляда. У Распутина, в его густонаселенных произведениях, живет много разного люда, удачливого и не очень, но у него нет среднего. С кем он имеет дело на своих страницах, люди, отмеченные Богом. Не из колоды карт. И в жизнь они вкладываются, а не втискиваются, хозяевами на своей земле. И, повторюсь, у каждого своя метка.

«Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий, выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узень-

кой лентой, а утюгом, — было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матере близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмога — понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога — ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку известно, чем чудней, тем милей», — объясняет нам автор, какие сметливые люди положили свой глаз на здешние, природой выныщенные места. Бог послал людям райский уголок, а пришельцы со славянских дальних земель этот божий посыл приняли, уловив в совпадении этих встречных желаний свою благословенную судьбу. А если еще постучаться дальше в свое прошлое, то повеет байкальским баргузином, прожурчит ангарским потоком мимо Шаман-камня, тряхнет плоскодонку откатной волной.

И если б не цивилизация со своей электрификацией, жить Матере еще века да века: тайга, лес, зверь, рыба, тугой хрусткий воздух, как кусковой байкальский лед, — и все это твое исконное Отечество по рождению и наследству.

К ладу и к кладу ведет повествование Распутин: если где человеку живется хорошо во взаимоотношениях с природой века и века, за чем же «улучшать» это состояние, не просчитав процесс улучшения хотя бы на половину срока вперед?

В произведениях Валентина Распутина люди живут по берегам рек, озер, чаще породненные Байкалом. Нет, Валентин Григорьевич — не таежный лесовичок, он и по заграницам ездит, за Байкал и там ратует, он и член Президентского совета первого и последнего президента СССР: пытался и там не просиживать то место, не протирать штаны, а воевать. Но однажды заметил, что патроны на ту войну выдают ему холостые, чтоб больше шума, дыма и вони...

Тихо ушел. Не мое это — сказал он себе. И нечего время терять. Никто и не услышал, не заметил, не спохватился за митинговым гвалтом, как о й человек, какой мыслитель разочаровался, разуверился в грядущих переменах, замечая, куда их клонит. Но за Байкал продолжало сердце щемить... Заступись ныне за обиженного пастуха — коровы мычать не станут. Не то что районный суд... Нет в лексиконе больших политиков слов «пахать», «токарь», «слесарь», «штукатур», «ткачиха»... Да и с чего им быть. В дележке нажитого народом, ставшего вдруг «ничьим», хапнули «по потребности», вдоль Рублевки вы-



Фото Игоря Курашова

росли дворцовые резервации... Те «рублевки», как в свое время «черемушки», обособились во всех весях — отгородились от распутинского народа, его подчас и за людей не считают. Подумаешь, полгода, год зарплату, пенсии не получают — но ведь живут же. До чего дошло: пенсии работающим пенсионерам — ветеранам, детям опустошительной войны лишили индексаций, как про штрафовшимся, что ли... что до сих пор... Ох, и не нравилось все это нашему Распутину Валентину свет Григорьевичу. Да один в стылом глухом поле, разве что волк по ночам воет.

«ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА»

Сюжет повести прост, как будний день. Девочка-подросток в поисках заработка на городском рынке попадает в расставленные сети понаехавших. Ее волокут в мужское общежитие, где кучкуется этот народец в толчее и вони, и что с

ней там происходит в течение двух суток, одному сатане известно. А в просторечии «пускают по кругу». Под угрозой «лублу — и точка, нэ дашь — зарэжу» она теряет все — и невинность, и свободу, и здоровье. Через два дня, когда ее находят родители, она уже никто: избитая, с синяками в пол-лица, с парализованной волей, запуганная до смерти. Она на все вопросы отвечает одним ответом: я боялась... они грозились убить. Милиция и прокуратура готовятся оправдать и отпустить насильника: земляки поднялись за него горой, крупно сбросились, а следователю Цоколю того и надо.

Тогда мать, пережившая самые страшные в своей жизни дни, подкарауливает в коридоре прокуратуры задержанного джигита и стреляет его в упор из двуствольного обрезка. Который сделала сама, всю ночь сидела на кухне и пилила ножовкой ствол охотничьего ружья, пока муж, как параличом разбитый, спал. Эта самая дочь Ивана, мать Ивана совершает самосуд над изувером и нелюдью, когда убеждается, что власть готовит

над насильником суд неправый. И идет в тюрьму. Правосудие довольно, прокуратура торжествует: дело можно закрывать. А как же насильники? Какие насильники? А может, их и вообще не было, может, все было по согласию... А убийца — вот она, не отпирается.

Вот и весь сюжет: зло наказано, справедливость восторжествовала. Но для Валентина Распутина это повод разобраться в проблеме века: страна сменила не просто власть, а политический строй, что стало с людьми, с их жизнями, с укладом их житья-бытья. Защищены ли они от различного нашествия? Хозяевами остались на своей земле, в своей стране, в своем доме?! Да и в своей судьбе?

Он исследует тщательно, как говорится, до пятого колена все обстоятельства жизни каждого из действующих лиц этой трагедии, кладет на чашу весов людского самосудия, казалось бы, незначительные и даже никчемные аргументы, чтобы вынести свой приговор... Вот этот приговор и будоражит общественное мнение, критики рвут его, как холстину, — с треском, хоть и осторожным, а иные — изворачиваясь в топорном замахе.

Давая последнему своему крупному произведению имя «Дочь Ивана, мать Ивана», Распутин как бы кольцует арену, на которой разворачиваются события: три поколения семьи — как три эпохи: советской власти, перестройки и постперестроечной барахолки, в которую превращается великая держава. И почему-то не очень-то хочет возвращаться в нормальное русское состояние, которое выпестовало все и всех.

Старший в этом кругу — Иван Савельевич, стало быть, отец Тамары, прошел войну счастливым: два ранения, и оба легких. Вернулся на Ангару — взял в жены девушку «чичкастую» из соседней деревни. Они кормились лесом и Ангарой. Бывший солдат «умел все — и плотничать, и слесарить, и выгнуть лодку, и управляться с любыми машинами, и брать зверя, и прийти ему на помощь в тяжелые снежные зимы, и почивать в снегу в клящие морозы, и сложить печку, и затянуть песню. Сын такого же многорукого отца, он перенял от него умелость и сметку с той же наследственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: «Ты сначала нарисуй себе в голове, что надо сделать, до всякой загогулины нарисуй, а уж после берись без оглядки».

Распутин не скрывает, что это его идеал мужика, на котором семья держалась при советской власти. И сама власть. Ибо уже «в двенадцать лет дочь хорошо стреляла из тозовки и из берданки, в пятнадцать села за руль лесхозовского “уазика”,

через год осилила трактор, сначала колхозный “Беларусь”, затем гусеничный “ДТ-54”... Такой уклад жизни поддерживала вся страна. Такой ладил и на будущее.

А какие шоу-колядки нам подсовывают вместо этого?!

Нет, и предыдущая жизнь была не без дырявого мешка — от этого никуда не денешься. Младший сын — тихий, мирный, любил уплывать с ружьем за Ангару на целый день, а то и с ночевкой. Но жизнь у него не сложилась... Однажды наложил на себя руки...

Старший, Василий, вышел в люди, стал дипломированным инженером, начальником на производстве.

Кажется, все для всех открыто и доступно — живи, чтоб все у тебя было гладко и в меру сладко.

* * *

Распутин скупыми словами характеризует каждого героя в своей трагедии «Дочь Ивана, мать Ивана» в самом начале повествования, помогая нам сосредоточить внимание не на подсобном для понимания материала, а на философии жизни.

«...Заводилой был Демин, более решительный и опытный в жизни. Он сразу же, как только покатила старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыряясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам. Анатолий же застрял на базе, которой отдал двадцать лет, все реже и реже выезжал в рейсы, да и то пустяковые, возвращался обратно — стыд сказать! — то с дровами, то с навозом, а то и совсем порожняком. Терпел, терпел и дотерпелся до того, что выставляли его теперь на улицу. Отрубалась безжалостно за ненадобностью не только часть жизни, но и часть души: там, на автобазе, и встретил он Тамару, три года она рядом с мужем крутила баранку».

Та самая, которая дочь Ивана, мать Ивана. Тамара Ивановна, стало быть.

Вот они-то и оказались втянуты в тенеты трижды клятой и проклятой политкорректности на бытовом уровне, хотя автор на всех ста пятидесяти трех страницах своего произведения ни разу не употребит этого слова.

Может быть, это даже и не политкорректность в ее классическом виде, а всего лишь ее ошметок. Но и не случайный ошметок, про который в народе говорят: в сахаре хоть ошметок сварил, и то сладко! Но опять же: на вкус, на цвет и приятеля нет. Кому сладко, а кому полынь горькая.

Тамаре Ивановне пришлось испытать полной мерой этой бурды, называемой политкорректностью по-русски, и она с ней рассчиталась по полной. По-своему. По-матерински, если муж оказался слабаком.

Но ведь в той-то жизни, вчерашней, он слабаком не был, слыл отличным работником. А?.. Выходит, не мы жизнь принимаем — не принимаем, а она нас? Путем ли это?

МОЛИТЕСЬ ЖЕНЩИНЕ

Слово и внутреннее состояние существа женщины в одной связке у Распутина, одно другого продолжение, которое, соединившись, образует душу. Познание этого тончайшего процесса требует столько деликатности, замирания дыхания, чтоб не спугнуть, не оставить «чужой» след в столь интимном и стерильном мире, что не всякому дано туда соваться. Распутину дано.

Еще в девичью пору, «перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом ночную рубашку и всматривалась в себя с той удесятеренной пристальностью, с какой почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственной обмороке следит в себе за всеми переменами, возвещающими приближение женщины...

Так хорошо было в этом томительном и чутком ожидании. Медленной волной, осторожно наплескивающей по бокам, проходила сверху вниз истома, пробуждала глубины и низы, сладко закручивалась в каких-то теснинах, снова распускалась и ответной волной, уже уверенней наглаживая, шла вверх. Там все натягивалось, замирало, струило, дыхание слабо колыхало его откуда-то со стороны, и, разбуженные, растворенные, наперебой пульсировали токи, — открывает нам удивительный мир В. Распутин. — Она вся точно наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение — и точно изнутри доносилась притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня...»

«Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом: или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно пере-

бирающее грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней, что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут... Она терялась от мысли, что совершенно себя не знает...»

Тише, струны, тише, не сорвите ноту, не расплескайте таинство самопознания, падайте ниц перед Вселенной, заключенной в женщине.

А теперь в такой же мир Светки вломилась тварь, грязная мразь, угрожающая все превратить в немыслимую похоть?!

«...Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения и вся-вся порывисто и неудержимо приговаривается для счастливого подвига...»

Отец, Иван Савельевич, провожал ее, повзрослевшую, в город, прикинулся пьяным больше, чем был, чтобы предупредить: до мужа, дочь, блюди себя как зеницу ока. Она даже обиделась на отца, что заставил себя эти слова говорить.

Но наступило время, когда и Тамаре Ивановной понадобилось говорить их своей Светке. Светка выслушала мать, пряча от стыда и неловкости глаза, но это-то так и должно было быть: в таких понятиях они все оставались недотрогами...

И вот теперь Тамара Ивановна сидит вместе с дочерью, попавшей в беду, у следователя, и он ведет допрос «под протокол».

* * *

«Светка стояла по одну сторону стола, который занимал почти всю вытянутую от двери к двери комнату, оставив только проходы по бокам, стояла в оцепенении, вздрагивая и отшатываясь от совсем уж диких криков, а по другую сторону, напротив нее через стол, извивался, визжал и кричал что-то неразборчивое кавказец в джинсовой куртке, черный, безростый, с бешеным лицом и кипящими большими глазами. Такими и увидела их Тамара Ивановна в милиции, куда они прибежали с Анатолием и участковым... Она вонзилась в нее (Светку) глазами и высмотрела ее всю...»

ПОД ПЫТКОЙ

Не допрос это, а пытка. Пытка двоих — дочери, она должна рассказывать все подробности, кто, как и сколько раз ее насиловал, и матери — она должна слушать, как истязали ради садистского удовольствия ее беззащитную кровинку, девочку,

девушниццу ватага сексуально распаленных кобелей, скотов, считающих, что русские девушки по своему рождению предназначены к этому, как и века назад малолетние рабыни на турецком невольничьем базаре в Крыму.

Но Распутину нужна не история, он ее знает, проходили в школе и в университете по советским учебникам, он сидит здесь, в кабинете у следователя Цоколя нынешней российской прокуратуры, и власть у нас новая, демократическая, и свобода слова и вероисповедания, и права человека... И европейские нравственные ценности.

«Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя?»

Светка мелко, дрожью, затрясла головой.

— Не сказала?

— Я еще раньше сказала, что я девочка. А там я не могла говорить. У нас уж там не разговор был.

— А что у вас было? — Цоколь покосился на Тамару Ивановну и добавил: — Я понимаю, тебе тяжело говорить. Но у нас здесь тоже не дружеская беседа. У нас допрос...

Светка тяжело подняла голову из наклона, лицо ее еще больше и гуще усеялось настолько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой сеткой.

— Пусть мама выйдет, — медленно растягивая слова и произнося каждое слово с разной интонацией, как это бывает у маленьких детей, выходящих из истерики, сказала она, ни на кого не глядя.

— Мама не может выйти. Она здесь не для своего удовольствия сидит.

...Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало лишь на короткие фразы».

И самое главное, мать, ее родившая мать, сидит напротив и слушает, что вытворяли эти нелюди над ней. Мать, которая и зачала, и выходила, и выпестовала ее в такой нежной любви, все-все отдавала ей, Светке, и вот теперь узнает такое, о чем и подумать не могла, что оно существует. И обрушится на ее Светку...

...И от этого голоса, от выдираемых из глубока слов Тамару Ивановну проняла жуть, она и слыхом не слыхала, прожив на свете сорок лет, что в мире, под которым ходит солнце и просушивает-проветривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немеренные бесстыдство и гадость.

Вся, натянувшись, обмерев, она уставилась на Светку как на что-то ужасное, как из-под смерти, из-под ада выбравшееся и принявшее образ ее дочери, и все слглатывала застрявший в горле воздушный комок и никак не могла протолкнуть его

внутри. Следователь раз за разом спрашивал: "Но почему?" Светка неживым голосом отвечала: "Я боялась, он грозился убить..." После одного из ответов, совсем уж неслыханного, молния сверкнула в голове Тамары Ивановны, возвещая конец ее терпению, — она стукнула кулаком по столу, вскочила и для себя же, для себя, не для кого другого крикнула в нестерпимой муке:

— Да как же можно?! — и выскочила в коридор».

Распутин сам вынес приговор давно. Но он старается, чтобы мы не сомневались в его справедливости и неотвратимости. Более того, чтобы мы, читающие его трагедию, стали и народными заседателями на этом процессе, почувствовали и для себя угрозу от «этих, которые понаехали», приглашенные новыми хозяевами жизни: подешевле заплатить — покруче нажить. Писатель не против, чтобы у нас родились мысли и подлиннее...

— Эка, хватил, — скажет резонер, — может, Адама и Еву вспомнишь?

Хорошо бы, конечно, их вспоминать каждому джигиту, теряющему разум под напором взбесившихся половых желез самца.

Но вернемся к нашему Распутину.

ПРИНЦИП ДЕМИНА

Это неправда, что Распутин отвергает людей новой волны. Нет. Он только ставит условие: на хозяйстве — хозяйствуй, но душу не трожь. Ан не получается, так-то. Не скелеты же мы заводные. И он видит, что не получается... (Вообще, говорить о Распутине что-то чохом — это дилетантизм. В творчестве писателя и, смею утверждать, в его душе все светится своим особым хрусталиком, своей бриллиантовой огранкой, своей божьей меткой. И до такой глубины он доходит в поисках человеческой личности, что кажется: он знает о своих героях, списанных с натуры, больше, чем они сами о себе. И это наваждение тебя не оставляет и после того, как ты начинаешь понимать, зачем это ему понадобилось как писателю, а идешь вместе с автором дальше и дальше, и только молишь бога в душе, чтоб отодвинул последнюю точку.) Демин — один из них, он, можно сказать, укоренившийся росток новой жизни. Распутин его щедро поливает, как опытный садовник, на протяжении всего повествования, чтобы рос, рос и рос. И укоренялся на том навозе, который теперь не убирают из-под ног. Особенно узаконенную безудержную спекуляцию, когда пару выращенных тобой клубней картофеля перепродают че-

рез десяток колен и на каждой продаже отрезают себе от клубня по глазку...

Излишне говорить, что Распутин любит своих героев. Он их выхаживает, вразумляет, выворачивает наизнанку и наблюдает: годится — не годится, прежде чем выпустить к людям. Но и кого — к каким. Старика бомжа «золотоискателя», философствующего по поводу устройства жизни. А сам безо всякой философии превращает приютивший его уголок с туалетом в мужском общежитии в бордель из неоперившихся девчонок для «понаехавших». Неприкаянные, неопытные и тоскующие от ненужности в этой раскрошившейся жизни девчонки как мотыльки на желтый огонек свечи слетаются сюда, еще не понимая, как паленым пахнет...

И Демина, мужика сметливого, умного, умеющего в жизни устроиться и при ельцинской растащивке, и при путинском порядке. Но и не молчуна, больше склонного к путинскому порядку, нежели к ухватистой житухи кавалеристов с Буденовской горки в пяти кэмэ за МКАД. Которые сами себе присвоили кликуху «младореформаторы», с благородным запахом, исторически перспективную. Примечательно, что их вожака прельстила госдача именно на Буденовской горке, а не на Рублевском шоссе или в соседнем Заречье. Но это так, к слову.

Демин же, стараниями Распутина, в любой жизни не пропадет, не струсит, не сподличает. Ни по женской части, ни перед властью за копеечную выгоду. Но вот за тысячную, миллионную — авто не идет на такие иезуитские иссушения, оставляет нам решать: обед сытный для человека нужнее чистой совести?

Вот послушайте сами Демина, когда уже раздался выстрел Тамары Ивановны и она сидит в кутузке. Молва уже объявила ее героиней, кто-то уже хочет и фонд ее имени сколотить, призывают скинуться... А они ночью за столом все терзают себе душу, что не смогли...

«Вот ты говоришь, что струсил и сам заметил, что струсил, — говорит Демин Анатолию, мужу Тамары Ивановны, убийцы и матери Светки, оказавшейся жертвой насильников. — Себя, значит, заклеил и душу свою на лоскуты рвешь. И собираешься рвать до победного конца, пока от нее живого места не останется. Да ведь мы все, разобратся, струсил. Струсил и не поняли, что струсил. Когда налетели эти... коршуны... коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было... Но хищные, жадные, наглые, крикливые... И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо

вот так... А мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас, как липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул — не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсил и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем. Дураки? Нет, не то: дураки, да не последние же... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?..

Где-то должны быть, и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуквину в себе обронили. Какую-то детальку... она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинуло. А деталька такая, что без нее все ходовое хозяйство теряет натяг. Хлябает, трясется...

...В себе-то мы остались, а штуквину потеряли. Где, когда потеряли — никто не скажет. А без нее... то ли трусость, то ли безразличие. То ли жилы надорвали, то ли трын-трава».

Люди Распутина не простые. Он и сам не простой. Он знает и рассказывает нам, что в душе человека, на самом ее доньшке, лежит и дышит некий закон непреодолимой силы — вот он и есть самый главный в его жизни, с ним не справится никакая ни власть, ни другая напасть, а только лишь плаха, которая само небытие, если он сам, без понуканий, на нее пойдет. Да и оно не одолеет эту непреодолимую силу, а может лишь порушить само существование жертвенника.

Меня люди с такой душой, которые населяют Вселенную Распутина, мало сказать, восхищают. Ибо носители такого глубинного чувства — и есть наша путеводная вера, которая провела через века наших предков и построила наше Отечество. Распутин раскрывает нам этот глубинный мир, чтобы мы в лихой час не оказались незащищенными изнутри, не оказались пустотельными оболочками. С пустозвонным пузырем вместо души.

СЕМЬЯ ПРОТИВ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

Распутин и не скрывает своих убеждений: власть недооценивает опасности, грозящей перевернуть уклад русской жизни, которую несут в себе «понаехавшие», не желающие учить наш язык и считаться с нашими нравственными ценно-

стями. Не видит она, что ли, этого? Россия ушла из Советского Союза в новую жизнь, а очутилась на бытовом уровне в старой замшелой забегаловке. Конец двадцатого века был и концом государства, в котором на первое место претендовал человек грамотный, образованный, культурный, уважающий все народы-братья, свое Отечество и пекущийся о его благополучии.

Распутин видит, что ныне печение о благополучии страны заменено соревнованием иного рода: у кого мощна тужа — тот и пан. Феноменальный опыт московского «Черкизона» их убедил: они — могут. Карман губернатора, конгрессмена, министра и капиталиста одинаково вхож для взятки. Сама корпоративная юридическая система алчно клюнула на «новый вид обогащения».

Распутин на этом моменте и принялся за «Дочь Ивана, мать Ивана», своим жизненным опытом и гениальной прозорливостью «творца человеческих душ» осознал: семья выстоит против этого невообразимого обвала грязи — еще не все потеряно для России. Не выстоит, подрежут ей колени — не дадут распрямиться.

Любая революция, любой переворот в государстве чреват массовым ростом инвалидов. И на голову, на ноги и руки, и на сердечную недостаточность. Совесть и несокрушимое казнокрадство внутри власти — вещи несовместимые: они порождают массовую нищету и унижительное сознание в народе собственной никчемности.

В ход пущено все, чтобы замарать человека, и перво-наперво его нравственные устои. Распутин по себе может судить об этом. Он тут же на себе почувствовал, что в человеке помечено объектом атаки.

«Почему Солженицын, отвергнувший награду Ельцина, — патриот, а Распутин, принявший премию от Солженицына-патриота, — отступник и предатель?»

Мы давно знаем ответ на этот вопрос, но собачимся только на балаганном уровне: а у вас негров линчуют.

О РАВНОВЕСИИ И СИММЕТРИИ

...Но и с другой стороны. Распутин не то чтобы сторонник симметрии, а и не одноногий: по жизни идет на своих двоих. Вот его герои разговор разговаривают: «И с начала, и с конца одно выходит... Иссякли. Были, шумели и все вышли. Хоть Сталина зови, хоть Петра. Не поможет. Человек старится, и народ старится. Слабнет, переливается в другой народ. Закон природы», — утверждает один, ста-

рик. Поживший и нахлебавший, не стремящийся скрестить лапки. (Кстати, во всю помогавший «по-наехавшим» в истории со Светкой.)

Другой, из деловых, средних лет, зовет в качестве исторического секунданта Ивана, сына Тамары Ивановны, собирающегося в дорогу — строить церковь в деревне, на родине своих родителей, человека ищущего, не потерявшегося в этих исканиях, а приобретающего опыт.

«Слушай, Иван, тут вот говорят, очень даже убедительно говорят, что наша песенка спета. Русская, значит, песенка спета. Что мы уж ни на что не годимся, только свет впустую коптим. Ты у нас молодое поколение, как ты считаешь?»

— Попоем еще, — улыбаясь, отвечал Иван.

— По-по-ем! — подхватил, зычно пропев, Демин. — Но ты это, — он опять обернулся к Ивану, — ты это так, к слову, сказал или вы там это обсуждаете? Сказать по-разному можно.

— Обсуждаем.

— И много вас, кто обсуждает?

— Нет, не много. Но много и не надо.

— Почему? Отвечай!

— Остальные — кисель. Под телевизором угорели. Им все равно. С ними еще работать да работать.

(Значит, телевизор — супостат, он народ дурит, сбивает с панталыку. Дочь Ивана и грохнула его об асфальт, чтоб не глумил людей, не смутьяничал. Так прямо из окна и вышвырнула.

Уберегло это вашу Светку? То-то и оно.)

...И, продолжая улыбаться, рассказал.

— Недавно... выступал ученый из Новосибирска. По теме: «Есть ли у России будущее?» Он хорошо говорил, нам понравилось. Его спрашивают: «Почему вы всех русских хотите сделать русскими?» — «А почему я всех русских должен делать нерусскими? Они ведь рождены русскими!» — говорит...

— Ему дальше. «Дело не в имени, не в национальности, — говорят. — Каждый человек должен меняться, как хочет, как его душа желает, способом свободной эволюции». Он отвечает: «Это будет не эволюция, а мутация, атмосфера создана такая, что он будет перерождаться в чужое. А когда переродится, он будет ненавидеть всякого, кто не переродился. Это, — говорит, — закон потери лица, закон предательства».

* * *

Позвонил академику Михаилу Александровичу Грачеву в Лимнологический институт, что на Бай-

кале. Они с Распутиным были как два богатыря, отстаивая интересы светлого Ока Сибири. Мне было не очень корректно спрашивать, но я все-таки спросил ученого, сыгравшего выдающуюся роль в изучении Байкала.

— Мы с вами не договорили о Распутине.

— Да... Распутин... — отозвался он.

— Что-нибудь не так, Михаил Александрович?

Он молчал.

— Год Распутина в России... — Мне бы помолчать, а я: — Наша память и совесть...

— Поехал я помолиться в церкви Знаменского монастыря, где похоронен Валентин Григорьевич... Поставил свечку...

Он говорил увесисто... Словами не сорил. Как всегда.

— ...На могиле писателя цветы, цветы...

Михаил Александрович ходить не может. После автокатастрофы в конце прошлого века, которая изломала его на части, он остался жив и руководил институтом до 2016-го. Замечательная жена Елена Валентиновна его вынырнула и вернула к творчеству. И ни на день академик не оставлял научную работу и контакт с окружающим миром.

Встречи и беседы с Валентином Григорьевичем были для него наполненными жизнью, которая редко бывает ласковой со слабаками. Да что там кокетничать, совсем не бывает.

— При своих мы остались с Валентином Григорьевичем. Он все уповает на равновесие — в жизни, в мире, во всем.

— А разве не так?

— Ну вот... На равновесие надеются мечтатели, а реалисты знают: ни во Вселенной, ни в нашей жизни равновесия нет и быть не может.

— Но почему же?!

— При равновесии все замрет. Остолбенеет. Кончится.

Ах, как он меня разочаровал.

— И что Распутин?

— Он считает, что равновесие — это гармония.

* * *

Мы все живем в своих измерениях и потому такие разные. Природа не оставила нам ни полшанса стать клонами друг друга. В этом глобальное спасение человечества от самого себя.

...И НАША ПАМЯТЬ

Валентин Распутин ушел от нас, так и не поклонившись в пояс власти, которая одаривала его по

таланту щедро, видимо, понимала: душа и совесть русской литературы дорогого стоит, а служение ей не совместимо с лицемерием. Распутин, вслед за Пушкиным, мог бы представить все свое творчество одной строкой великого поэта: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Но не былинно-сказочной, а реально озабоченной собственным выживанием, рвущей в себе стальные жилы, идущей на невосполнимые жертвы, прощающей своим вождям человеческие слабости и государственную немощь. И даже преступления перед народом. Не пляски на его костях. Кому бы то ни было.

За день до своего пятидесятилетия В. Г. Распутин стал Героем Социалистического Труда, получив от советской власти высшие знаки отличия: второй Орден Ленина и Золотую Звезду Героя.

Власть не обходила его по околице — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Александра Невского, лауреат двух Государственных премий СССР, премии Президента Российской Федерации (2003 год) и Правительства РФ (2010 год); народный депутат СССР, член Президентского совета при М. С. Горбачеве, с июля 2010 года — член Патриаршего совета по культуре (Русская православная церковь), премии уникальные: имени Александра Солженицына под номером 1, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Невского, «Лучший зарубежный роман года. XXI век» (Китай) и множество других... И все-таки...

* * *

— Ну, на посошок, — сказал директор издательства, автор «Интерната», «Хазарских снов» и «Звезды плакучей», и предложил: — Давайте за любимое произведение Распутина. Какое оно у вас, Валентин Григорьевич?

— Все как дети. Но самое любимое... Я как-то не думал об этом.

— Но написано?

— Да кто ж его знает.

— Тогда за «Прощание с Матерой».

Выходит, мы уже тогда с ним попрощались. В нашем веке такой баланс нам достался: мы больше прощались, чем встречались с дорогими людьми.

Но нас еще ждала встреча с «Дочерью Ивана, матерью Ивана», очень непростым произведением Распутина про наши непутевые будни: в такое зеркало поглядеться, как на причастие в церковь сходить. Оно заканчивается символически.

Дочь Ивана, мать Ивана — сорокапятилетняя Тамара Ивановна, досрочно освобожденная, возвращается из мест заключения домой. И по дороге «жадно всматривается в людей, оставшихся здесь, ничем не стесненных, безоговорочно себе принадлежащих, она вдруг поразились: да ведь это лица тех, за кем она наблюдала там. Те же самые стылость, неполнота, следы существования только одной, далеко не лучшей частью... Это что же? Почему так? И там, где нет свободы, и здесь, где свобода навалена такими ворохами, что хоть из шкуры вон, результат одинаковый?

Но уже догадывалась Тамара Ивановна, что на подобные вопросы здесь больше не отвечают. Не четыре с половиной года не было ее на этих улицах, а все сорок пять. И за эту эпоху жизнь закалилась и уплотнилась настолько, что она не признает никаких сомнений, ничего хлябющего, перетаптывающегося, и уверенно делает главное свое дело — чеканит из человека монету.

Тамара Ивановна и себе не смогла бы признаться в этом: не хотелось ей торопиться домой. словно только в таком положении, как теперь, вне времени и жизни, на какой-то короткой переправе с берега на берег, и дышалось ей вольно».

Гений писателя Валентина Распутина добился своего: он оставляет нас на распутье с вопро-

сами: в тюрьме ей было легче, чем дома? Так перевернула нас жизнь, что мы теперь вышагивай не вышагивай, а все получается коленками назад?

Вопрос отсылает человека к раздумью. Раздумье находит ответ. Ответ — предпосылка к действию.

Но вот что это будет за действие?

Р. С. В конце концов, при чем тут черные или белые, пьяные или угорелые, носатые или волосатые, с одним ухом или двумя?! Совершилось величайшее глумление над девочкой, будущей матерью наших детей, наших потомков. И осталось безнаказанным со стороны закона. Об этом стучится в наши души память Валентина Григорьевича Распутина.

* В своей последней работе, имею в виду «Диалоги о России», в которых собеседником Валентина Распутина выступает известный публицист — правдист Виктор Кожемяко, соавторы анализируют постперестроечные перемены и дают им неоднозначные оценки. Я это учитывал, работая над своими заметками о Распутине.

** Сокращенный вариант этих заметок своего обозревателя А. Юркова опубликовала «Российская газета» в июне 2017 года.